

*Биография
известного
актёра
и кинорежиссёра*

АЛЕКСАНДР ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ



СУДЬБА-ЗЛОДЕЙКА

Полимер. Серия

Александр Панкратов-Чёрный

Судьба-злодейка

«ЭКСМО»

2018

УДК 791.44(092)
ББК 85.374(2)-8

Панкратов-Чёрный А.

Судьба-злодейка / А. Панкратов-Чёрный — «Эксмо»,
2018

ISBN 978-5-04-089807-7

Александр Панкратов-Чёрный – знаменитый актер и кинорежиссер, человек, полный искрометной взрывной энергии. В его фильмах, среди которых «Мы из джаза», «Жестокий романс», «Зимний вечер в Гаграх», «Палата № 6», «Импотент» и другие замечательные картины, зритель видит и чувствует, что его герои – органичные, живые, настоящие. О том, как в детстве автор чудом избежал смерти, о голодных годах в театральном училище, о счастливом знакомстве с Высоцким, о Панкратове-поэте, сложных отношениях с КГБ, режиссерстве в армии, о том, как Александр Васильевич рисковал здоровьем на съемках «Сибириады», цензуре, запретах его фильмов и многом другом – в рассказе честного человека, любящего жизнь и дело, которому он предан. За свой яркий творческий путь автор встречался с множеством талантливых людей, среди его друзей Дзиган, Высоцкий, Евстигнеев, Кончаловский, Михалков, Шахназаров и многие другие. Сам же автор утверждает, что своими успехами в жизни он обязан исключительно своим учителям и друзьям.

УДК 791.44(092)
ББК 85.374(2)-8

ISBN 978-5-04-089807-7

© Панкратов-Чёрный А., 2018

© Эксмо, 2018

Содержание

Глава 1	7
В рубашке родился...	7
Казачья кровь	8
Мама	10
«Семь» – волшебное число	11
Трудодни	12
Дедов конь	13
Школа	14
Первые стихи	15
Кино наоборот	17
Шапито в сарае	18
Переезд	19
День шахтера	21
Три миллиметра	22
Как я решил стать актером	23
Глава 2	24
Цыгане	24
Вступительные экзамены или этюд на рояле	25
Мои учителя	27
Два стакана чая без сахара и тринадцать кусков хлеба	28
Актерское мастерство «с тряпочки»	29
Оттенки белого	31
Кружок поэзии и КГБ	32
Пальто-шинель и возвращение в театральное училище	36
Московские каникулы	37
Владимир Высоцкий, 1965 год	38
Пензенский драматический театр	39
А Бэла белкой может быть...	41
Москва	42
Франсуа Ленар и советское киноискусство	43
Атмосфера – это святое	44
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Александр Панкратов-Чёрный

Судьба-злодейка

© Панкратов А., 2018

© Киноконцерн «Мосфильм» (Кадры из фильмов)

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

* * *

Глава 1

*Босоное-босоное...
Конопатое-конопатое
Детство, долгой в Алтай дорогою
Убежавшее от Панкротова¹.*

В рубашке родился...

Мама родила меня на сороковом году жизни. Я был последним, четвертым, ребенком в семье. Мои старшие брат и сестра Толя и Лидочка умерли во время войны, поэтому из четверых детей в живых остались только двое: я и Зиночка, моя сестра от первого маминого брака с Иваном Панкратовым, чью фамилию я ношу. Зиночка родилась в последний год войны, я – четыре года спустя.

Мама рассказала мне одну удивительную историю, которая с ней произошла в Петербурге. Там жила ее семья до «переворота» (так мама называла революцию). Они с бабушкой шли через Малую Невку к храму. К ним подошла цыганка, посмотрела на маму и говорит:

– У, какая черноглазая! Не цыганка ли?

Бабушка отвечает:

– Нет, не цыганка. Мы казаки.

Цыганка маме рассказывает:

– Ну, Агриппина, доживешь до девяноста лет...

– Откуда имя-то знаешь? – спрашивает бабушка.

– Знаю. Я все знаю! – отвечает цыганка и продолжает:

– Четверо детей будет. Но война начнется. Двоих детей во время войны потеряешь.

Все сбылось. Мама скончалась на 90-м году жизни.

А еще цыганка сказала:

– Младшенький прославит семью, знаменитым будет.

Это она имела в виду меня, я был последним ребенком в семье, младшеньким, и мамой любимым.

Я родился семимесячным, недоношенным. Думали, не жилец. А 1949 год, как мама рассказывала, был голодный. В деревне маму все успокаивали:

– Ну, Агриппина, не переживай: семимесячный недородился – не жилец, умрет... Лишнего-то рта не будет.

Но дедушка с бабушкой не отступились, меня завернули в тулуп – и на печку. Затопили, хотя было лето. Меня выпаривали, как птенца. Молока у мамы не было, грудь была пустой. Бабушка где-то нашла тряпицу реденькую, туда творог с сахаром намешивала – и мне в рот. И я чмокал. Вот так меня выпаривали. И выходили.

¹ В качестве эпиграфов к книге здесь и далее использованы стихи А. В. Панкротова-Чёрного из сборника «Хочу сказать...», С-П, StandART, 2009.

Казачья кровь

Фамилия, которую я ношу, досталась мне от первого мужа моей мамы – Ивана Панкратова. У моего отца фамилия Гузев, от слова «гузка» – были такие казачьи подразделения еще в древности: когда казаки отступали, то заслоны ставили «прикрывать гузку». Предки мои по линии отца были из черниговских казаков, а вот по материнской линии – из донских. Фамилия матери была Тока, но не от слова «токарь», который металл точит, а от слов «ток», «тетерева», «токует». Токи – это такая казачья фамилия была. В Ростовской области даже есть станица с таким названием. Вот оттуда, с Дона, и пошли наши корни по материнской линии. А Токами их называли почему? Мои прапрапрапредки были хорошими охотниками, били тетерева. Те, кто охотой увлекаются, знают: на тетерева профессионал должен ходить. И взять тетерева легче тогда, когда он токует, то есть поймать «на свадьбе».

Мама была младшей в семье, одиннадцатым ребенком. У нее было две сестры, все остальные – братья: офицеры, казаки. Четыре поколения по маминой линии служили в царской охране. Причем многие принадлежали к личной охране императоров. Дедушка в Зимнем дворце отвечал за безопасность Золотой лестницы, по которой дипломаты и иностранные гости поднимались на прием к императору. Дед был кавалером ордена Св. Владимира за участие в Первой мировой войне. Он был в числе георгиевских кавалеров, которые сопровождали государя императора с семьей до Тобольска в ссылку. Потом, когда их вернули в Екатеринбург, чекисты расформировали казачью охрану, и он потерял связь с однополчанами. До середины 1924 года он со всей своей большой семьей жил в Петербурге. Трое его сыновей скрывались от советской власти, потому что были офицерами Белой гвардии.

После революции на такую родословную не могли не обратить внимания. Когда умер В. И. Ленин, дед решил эмигрировать через Дальний Восток в сторону Харбина. Но дошел только до Новосибирска, где в 1927 году его с семьей арестовали и сослали в алтайскую деревню Конево. Когда ссылали, спросили, что это за фамилия – Тока? Он объяснил, что охотничья фамилия, от слова «токовать». Ему ответили:

– С этого момента никаких Тока, будете Токарёвыми.

Вот так фамилия Токарёвы за ними и закрепилась.

Дед с соседом Иваном Викуловичем, его сослуживцем по полку, оказались первыми поселенцами в деревне, первый колышек забивали. Деревня была при колхозе. Раньше район назывался Каменским, с центром в городе Камень-на-Оби – такой маленький городок купеческий, кстати, родина известного советского режиссера Ивана Александровича Пырьева. Когда позже соседняя деревня Панкрушиха разрослась, район стал называться Панкрушихинским. Каменский район сделали отдельным.

Вся деревня состояла из ссыльных, которых туда привозили со всей страны. Помню, было три немецкие семьи, с Украины сослали многих родственников бандеровцев, так как самих бандеровцев убили после войны. Жили здесь поляки Архимовичи; Должиковы и Корякины с Украины, а из казаков были Иван Викулович и мой дед. Они крепко дружили.

Дед с Иваном Викуловичем иногда тайно встречались по ночам и отмечали что-то. Я не знал, что именно, но что-то важное и торжественное, потому что зажигали керосиновую лампу, а это редкость была у нас в деревне: все экономили на керосине. Лампу обычно зажигали только по большим праздникам. Я, любопытный, в одну из таких ночей проследил за дедом с Иваном Викуловичем. Они достали тесемкой перевязанные бумажники и размотали, а там – медали и кресты за Первую мировую войну. Потом дед рассказал мне, за что ему вручали эти награды. Для каждой из них была своя история.

Дед все время был благодарен господу богу, что сослали их именно в 27 году. Потому что уже в 29-м всех царских офицеров расстреливали.

– Под богом ходим, – повторял дед.

Я его спрашивал:

– Почему под богом?

Он отвечал:

– Потому что все видеть надо. Вот Он и вознесся... Над всем миром...

– Так там же небо, – говорил я.

Дед улыбался и как-то тихо произносил:

– Он выше, а над Ним – никого.

Мама

*Мама тихо мне: «Санка! Санка!»
И босой за ограду утром –
Спозаранку бегом за саранкой
Я, за счастьем своим как будто...*

Панкратовой мама стала, когда вышла замуж за Ивана Панкратова. В 1927 году она убежала из ссыльной деревни в Камень-на-Оби, работала там на крольчатнике. Ей было семнадцать лет. В Камне-на-Оби ее сосватал Иван Панкратов, работник комсомола. С его фамилией мама чувствовала себя в безопасности. Они путешествовали по всей стране, и в Барнауле Иван Панкратов оказался в НКВД – в разведке. На этой должности он ездил по округам Средней Азии. Там они с мамой и встретили войну.

В первом браке у мамы родились Лидочка, Толик и Зиночка. Как я уже упоминал, Лидочка и Толик умерли во время войны. Зиночка родилась в последний год войны. А вскоре после Победы, в начале 1946-го, Иван Панкратов пропал без вести в Японии, где служил офицером военной разведки.

Мама осталась одна с дочерью на руках, Зиночке еще и годика не было. Мама была контуженная, плохо слышала, потому что всю войну прослужила в железнодорожных войсках, где их эшелон разбомбили. Она пришла в военкомат, где служил ее муж, а это разведка, НКВД. Ее стали расспрашивать и выяснили, что она ссыльная. На мамино счастье, ее разыскал друг мужа, тоже какой-то чин в НКВД. Он ей сказал:

– Агриппина, мотаться тебе теперь по ссыльным местам, а ты с ребенком на руках. Давай-ка мы тебя к отцу и сошлем.

И отправили до Барнаула. На каких-то подводах ехала она от Барнаула до Камня-на-Оби. От Камня-на-Оби тоже около ста километров до нашей деревушки Конево. Приехала. Дедушка встретил маму очень сурово. Сели за стол, дед маму спрашивает:

– Ну что, большевичка, добегалась?

С тех пор к маме у него было прохладное отношение, которое позже распространилось и на меня.

В деревне мама встретила моего отца Василия Гузева, тоже из репрессированных. За что сослали отца, мне так и не удалось узнать. Мать с отцом быстро расстались, и когда ее в 1959 году реабилитировали, она взяла фамилию Панкратова.

«Семь» – волшебное число

Мое самое первое воспоминание – о том, как я учился ходить. Рассказал маме, а она не поверила:

– Что ты хлопаешь-то! Как ты мог помнить? Ты в семь месяцев пошел.

– Помню, – говорю. – На мне тогда была широкая белая распашонка колокольчиком.

Ее бабушка мне сшила из наволочки. Я помню, дед кушак, тоже связанный бабушкой, привязал к ножке стола и протянул до софы – деревянной такой скамьи, которую они с Иваном Викуловичем смастерили. К подлокотнику этой софы дед привязал второй конец кушака. Помню, как я в этой распашонке, держась за кушак, от софы шел к столу. Для меня «семь» – волшебное число. Семимесячным родился, в семь месяцев пошел и после седьмого класса поступил в театральное училище. Но обо всем по порядку.

Трудовни

Сейчас это сложно себе представить, но я рос в деревне без электричества. На керосине экономили. Бабушка вставала очень рано, затемно, часов в пять-шесть утра. Чтобы приготовить еду, разжигала лучинку в кути (так на Алтае называли кухню). Эту лучинку я до сих пор помню. Иногда готовила со свечкой. Свечки либо сами делали из воска (пчел на Алтае всегда – тучи!), либо покупали в Камне-на-Оби. Ездили, как говорили тогда, «с оказией» – если кто-то туда направлялся, ему заказывали, – но только когда были деньги, а это бывало редко. В колхозе денег не платили. Работали все за трудовни.

Я стал работать с шести лет, возил копны – зарабатывал трудовни. Когда сенокос идет, женщины копнят сено, мужики мечут стог, а дети подвозят копны к стогу. Мама прикапнивала со мной, водила почти под уздцы лошадь, потому что я был маленького роста. Я часто падал с лошади от солнечного удара. Мама меня тихонько водичкой обольет, чтобы бригадир не увидел. Все время приговаривала:

– Не плачь, а то услышат и уберут тебя – меньше заработаем трудовней.

За трудовни платили тем же, что крестьяне производили: зерном или маслом от наших же коров (в колхозе маслобойка была, жители свозили туда молоко, потом маслом с ними и рассчитывались). Сколько у тебя трудовней – столько тебе полагалось килограммов масла, пшеницы. Чтобы хватало на семью, работали все: и мама, и сестра, и я. Пшеницу мололи на дому. Из этой муки и хлеб пекли в печи.

Когда стали появляться комсомольские стройки, то молодежь, чтобы найти какую-то возможность из этой деревни вырваться, записывалась туда добровольцами, не имея ни профессии, ни образования. Работа на стройках была тяжелая и опасная. Там погибли Ванька Сидоров и Витя Макаревич из еврейской семьи.

Кличка у Вити была Кошка, потому что он очень лихо лазил по деревьям. А Витину маму в деревне называли Горбуньей. Когда их с Витей сослали, она была матерью-одиночкой: мужа либо расстреляли, либо он в лагерях сидел (не принято было рассказывать, кто за что был сослан).

Я спросил:

– Мама, а почему тетя Фаня стала горбатой?

Мама рассказала, что избу Макаревичам построить было некому: мужика в семье не было, а строили тогда все своими силами. Им мужчины из деревни выкопали землянку – вот как фронтовые землянки: земляной пол, из кирпича сложенная печурка с трубой на крыше и потолок деревянный, который покрывали кошмами, войлоком. Так они и жили. А землянка была низкая, поэтому тетя Фаня все время ходила согнутой. Это стало для нее привычным состоянием, согбенная была старушка. Хотя старушкой ее в прямом смысле назвать было нельзя. Все женщины были еще молодыми, но выглядели как старушки, потому что труд был непосильный. В пять уже вставали, к шести надо было успеть на дойку, а возвращались под ночь, и еще надо было что-то по хозяйству сделать – тяжелый был труд.

А мы, дети, счастливые, играли в войну, дрались и хотели, чтобы когда-нибудь нас приняли в пионеры.

Дедов конь

Когда дед решил купить коня, над ним смеялась вся деревня. Дело в том, что до прихода к власти Н. С. Хрущева нам разрешалось разводить скот. В основном покупали корову, чтобы молоко давала, овец разводили на шерсть, гусей, уток – чтобы яйца несли, в крайнем случае кобылу, чтобы приплод был. Но мой дед купил жеребца, казалось бы, совсем бесполезное животное, – потому что он казаком был и всегда говорил:

– Казак на кобылу не сядет.

Каждое утро дед вставал в шесть часов, садился верхом на коня и скакал по окружным полям. Еще он был толстовец, подражал писателю Л. Н. Толстому. У него была такая же борода – я тогда только на картинах художников видел таких бородатых стариков. Ходил всегда в толстовках, которые шила ему бабушка, подвязывал их кушаком.

Стоил конь тогда огромных денег – это как сейчас «Мерседес» купить. А так как работали в колхозе за трудодни, то деньги можно было получить только с подработок. Дед был мастер великий: делал деревянные грабли, сани-розвальни из дерева. Он дружил с дедом Никанором Карякиным, одноногим кузнецом, который ковал полозья для его саней. Вместе они мастерили оглобли, вилы, рогатины, грабли – и все это продавали тайком в Камне-на-Оби. Дед деньги откладывал и в итоге купил жеребца.

У нас в деревне была довольно большая конюшня, где распоряжался конюх Тимофей. И когда сенокос заканчивался, мы там тоже подрабатывали в ночное или помогали пасти коней. Нам за это платили – правда, трудоднями.

И вот однажды я возвращался с пастбища на дедовом коне, подъехал сзади к кобыле. Я тогда не знал, что кобыла не любит, когда жеребец сзади подходит. Она как лягнет. Жеребец-то умный, увернулся, а мне досталось. Лошадь ударила меня очень сильно прямо в лицо. Я улетел в кусты и потерял сознание. Не знаю, сколько я там пролежал, но искали меня долго. Наконец нашли. Помню, меня на телеге везут, я лежу весь в крови, и обезумевшая мама бежит рядом и причитает:

– Сыночка, сыночка! Да что же это такое!

А бабушка Аннушка ее успокаивает:

– Под богом ходит. Видишь, живой.

Но со слухом у меня после того происшествия до сих пор осложнения.

Школа

Школьные учителя тоже были ссыльными. Помню, преподаватель литературы и русского языка Ольга Александровна ото всех скрывала, что ее батюшка был священнослужителем, жил в соседнем селе. А вот Татьяна Алексеевна, учительница математики, меня терпеть не могла и все время была костяшками пальцев в лоб, приговаривая:

– Смотришь в книгу – видишь фигу!

А дело было в том, что ее отец стрелял в моего деда. Он был ярый большевик и ненавидел моего деда за то, что тот – бывший царский офицер: и как это такая несправедливость случилась, что в одной деревне бок о бок жили враги. Однажды он подкараулил деда, выстрелил в него из ружья и ранил. С тех пор его дочь меня недолюбливала. Вообще, в классе меня сторонились. Все дети были, как говорится, из предыдущих ссылок, а раз мы с мамой приехали недавно, после всех, значит, мы самые страшные враги. Из-за этого иногда приходилось драться с ребятами.

Но однажды я вернулся в класс после перемены, сажусь за парту, а у меня в парте – пирожок, а то и два. Я стал следить и вычислил, кто с пирожками в школу ходит – оказалось, это Лида Лысьева, самая красивая девочка в классе, мне тайно подкладывала пирожки. Так мы с ней подружились и дружили до самого моего отъезда.

Тогда в классе мальчиков и девочек сажали отдельно: мальчиков – слева, девочек – справа. Брили всех наголо, чтобы вшей не было: и девчонок, и мальчишек. В деревенской школе мы учились четыре класса. Все были отличниками. А секрет был вот в чем: в одной комнате этой избы-школы стояло два ряда парт: учились вместе первый и третий классы, а в другой комнате – второй и четвертый. Поэтому, учась в первом классе, мы уже запоминали что-то из программы третьего. Когда приходили во второй класс, естественно, для нас этот материал был – «семечки». Учась во втором классе, мы слушали программу четвертого... поэтому все были отличниками.

Еще в деревне была прекрасная библиотека, которая располагалась в отдельной избе. Книги собирали у всех ссыльных – кто что успел с собой привезти, поэтому выбор был разнообразный. Я читал много, пропадал в библиотеке. Бабушка всегда поощряла это мое занятие. Уже в детстве я прочитал Толстого, Пушкина и Достоевского, дореволюционное издание Ги де Мопассана, даже «Иллиаду» Гомера. К концу 4-го класса я знал наизусть почти всю библиотеку, потом пересказывал содержание книг остальным ребятам – не все любили читать, а слушать каждый был готов. Эта моя начитанность позволила мне завоевать определенный авторитет среди ребят, она и в дальнейшем меня много раз выручала.

Первые стихи

Первый мой поэтический опыт случился, как говорится, не благодаря, а вопреки. Мы с ребятами каждый вечер собирались на грудке (так мы называли холм за деревней). Среди нас был Ванька Сидоров, долговязый парень на несколько лет старше меня. Ему тогда уже лет четырнадцать было. Талантливый, прекрасно играл на балалайке и на гармошке и сочинял частушки-нескладушки. Что такое рифма, он не знал, но сочинял. И стихи были очень злые – каждый в деревне боялся стать объектом его частушек. Этот Ванька Сидоров заметил, что я равнодушно посматриваю на Лиду Лысьеву, которая ему очень нравилась, а Лида, кажется, отвечала мне взаимностью. Вот в один печальный для меня вечер, когда на грудке собралась почти вся молодежь деревни, он пришел со своей гармошкой и объявил:

– Частушка-нескладушка про Шурку Панкратова!

Я насторожился, а он при Лиде Лысьевой как запоем:

*Ты родился под мостом,
На тебя куры срали.
От того ты не растешь,
Гнида конопатый,
Шурочка Панкратов*

Это при моей-то «любимой»! Я схватил какой-то дрын и начал гонять его по всей деревне. А он долговязый был, бегал намного быстрее меня. Я его догнать не смог, но готов был за себя отомстить и подраться, если понадобится. Драчун я был неплохой, потому что мне все время приходилось защищаться от своих сверстников. И вот я, обиженный, плача, пришел домой. Пока никого в избе не было, взял тетрадку у сестры и написал на Ваньку стих, страшный стих. Я собрал весь фольклор деревни – все, что от мужиков слышал. На следующий день на грудок прихожу, мрачный, на всякий случай кол взял хороший – от Ваньки защищаться. И когда все собрались, я объявляю:

– Стих! Ваньке Сидорову посвящается!

Ну и как дал им этот стих, с листа читал. Не успел я закончить, как Ванька Сидоров меня погнал. На этот раз я оказался проворнее, он отстал.

На другой день вся деревня узнала о моем поэтическом дебюте. Дед вывел меня во двор:

– Варнак! – говорит («варнак» – это казачье слово, им называют варвара, которого следует наказать) и всыпал мне вожжей.

Дед часто меня порол. Вожжами – это еще ничего, было делом привычным. А когда ему под руку уздечка попадалась, тут я уже боялся, что, не дай бог, удилами. И он меня отпорол. Оказывается, на следующий день утром ему рассказали, что внук его на грудке выдал мат-пермат. В нашей семье это было страшно наказуемо. Дед всегда говорил:

– Варнак! При большевиках живем. Учись пахать, сеять, лес валить, дрова колоть, землю пахать, а щелкоперство это брось.

Вот так он меня крепко воспитывал. А бабушка меня всегда успокаивала.

В детстве я был почему-то конопатый. Старухи смеялись надо мной, говорили:

– Санька ходит Панкратов-то, мухами весь засиженный.

Мне было очень обидно, а бабушка меня однажды успокоила:

– Санка, не обижайся на старушек. Они же не знают, что тебя солнышко любит.

И с тех пор, когда я плакал, то утешения искал всегда у бабушки. Бабушка мне тогда сказала:

– Пушкина-то почитай. Вот это – поэзия. А матерные слова ни к чему.

Потом, когда я начал писать стихи, мама всегда предостерегала:

– Санка, брось писать стихи – расстреляют, а не дай бог – посадят.

Уже после перестройки, когда у меня вышла первая книга стихов, я приехал к маме.

Книгу ей показываю и говорю:

– Мама, видишь, меня напечатали.

Она полистала книгу и зарыдала в голос. Обняла меня, прижала к себе, плачет и говорит:

– Все-то тебе, сибирячок, нейдет. Все-то тебе нейдет. Смертыньку ищешь!..

Кино наоборот

Раз в месяц к нам в деревню из Камня-на-Оби привозили кинопередвижку. И вот «ду-ду-ду» – стучал движок, и показывали кино. Вся деревня собиралась на фильм. Вместо экрана вывешивали простынь, и мы с ребятами по другую сторону простыни смотрели кино: в зале все места были для взрослых, а нам разрешалось смотреть только за простыней – «за экраном». Поэтому, когда я уже учился во ВГИКе, мой учитель Ефим Львович Дзиган спрашивал:

– Саша, ты араб или еврей?

Я не понимал вопроса, а он объяснял:

– Кинопанорамы в твоих учебных работах идут справа налево. А надо слева направо, как книгу читаешь.

Я кино воспринимал в обратную сторону и потом долго от этой привычки освобождался.

Тогда меня особенно потрясли фильмы «Чапаев» и «Мы из Кронштадта». И судьба сложилась так, что я потом учился у Ефима Львовича Дзигана, режиссера фильма «Мы из Кронштадта». Помню фильм «Бродяга» с Раджем Капуром, который вся деревня ходила смотреть. Все бабы потом по вечерам собирались в избе у мамы, приходили с веретенами пряжу прясть и плакали: все вспоминали, как в фильме шайка бандитов над главным героем бродягой изгалялась. А я потом на грудке изображал танцы Раджа Капура из того фильма... Пройдут годы, и я познакомлюсь с Раджем Капуром на Московском международном кинофестивале незадолго до его кончины, а он представит меня Риши Капуру – своему сыну.

Был 1957 год, когда я изображал на грудке Раджа Капура. Я это запомнил, потому что тогда произошло одно важное событие. Собрались мы на грудке и вдруг смотрим – скачет мужчина на лошади:

– Мужики! В космос аппарат запустили!

Это почтальон наш был, который раз в неделю к нам приезжал, привозил из района газету «Правда». Потом мы узнали, что запустили искусственный спутник. А еще в 57 году была годовщина революции, 40-летие, и в нашу деревню провели радио. Причем это были круглые рупоры, как во время войны. Их устанавливали не у всех. Мы мальчишками все время бегали к этим радиостолбам и прикладывали к ним ухо в надежде услышать радио. А потом, незадолго до нашего отъезда в 1959 году, провели электричество. В нашу деревню постепенно приходила цивилизация.

Шапито в сарае

В 1959 году маму реабилитировали, выдали паспорт (до этого ни у кого из ссыльных паспортов не было) и пенсию назначили: то ли семь, то ли девять рублей. В нашей деревенской школе было только четыре класса, а мама хотела дать нам с сестрой достойное образование, поэтому решила переехать. Нам разрешили выехать из Алтайского края, но перемещаться мы могли только до Урала, в Центрально-Европейскую часть России маме уезжать было запрещено. Мы решили ехать в Кемеровскую область. Там жила мамина тетя Мария Алексеевна Козлова.

Перед отъездом впервые в своей жизни я попал в город Камень-на-Оби. Для меня, десятилетнего мальчишки, впечатление было грандиозным. Даже потом, когда я съездил в Москву и Петербург, на меня эти города произвели меньшее впечатление, чем Камень-на-Оби, потому что это был первый город, который я увидел вживую, не в кино.

Чтобы достать денег на отъезд в Кемеровскую область, мы решили продать корову. А для этого нужно было ехать в город. Сосед направлялся туда на телеге. Мы привязали корову к соседской телеге и гнали все сто километров до города. Ехали с мамой вдвоем – сестра в тот день работала в колхозе. Первые ощущения от города: множество телег, автомобилей было два-три, и те грузовики. Корову мы продали, по мнению мамы, удачно, и я впервые попробовал мороженое в бумажном стаканчике по десять копеек за порцию.

– Ой, почти как морозево, – сказал я.

На Рождество из творога с сахаром и сметаной бабушка делала лепешечки и выносила на улицу, на мороз. Эти застывшие лепешки назывались морозево. А тут настоящее молочное мороженое!

Но особое впечатление на меня произвел цирк шапито. Там я в первый раз увидел клоунов, которые жонглировали факелами, и увлекся. Приехал в деревню – думаю, научусь жонглировать. Нашел три округлых камешка, пожонглировал ими – получилось. Думаю, пора переходить на факелы. Нарубил куски стальной проволоки, один конец обмотал тряпкой и паклей, макнул в солярку, поджег. Другого места не нашел репетировать, как в сарае, где сено хранилось. Главное – потолок высокий, как купол в цирке. Жонглирую, собой доволен – настоящий артист цирка! И вот одна из этих проволок воткнулась под стреху в крыше и горит. А я росту маленького был: прыгал – не достал, а лестницу не нашел. И сарай сгорел. Ну и дед очень «популярно» мне тогда объяснил, что такое цирк в деревне. От деда, конечно, сильно досталось. С тех пор я о карьере циркача и не думал, хотя ходить в цирк люблю до сих пор. У меня очень много друзей-циркачей, среди них семьи Никулиных и Дуровых.

Переезд

Помню, как плакал, когда мы покидали нашу деревню. Приехала полуторка, нас посадили в грузовик, погрузили наши вещи. Среди них огромный бабушкин сундук, зеленый кованый, с хитрым каким-то замком – там все мамино богатство хранилось. Бабушка привезла сундук из Петербурга с собой в ссылку и подарила его маме перед нашим отъездом. Уезжали вдвоем: мама, сестра и я. Попрощался с бабушкой. Деду руки не подал, но он и не требовал этого, стоял мрачный, перекрестил нас. И мы поехали. Едем в Камень-на-Оби, а нам навстречу – Лидочка Лысьева с мамой.

Я кричу:

– Лида!

– Саня! – кричит Лида мне в ответ.

Вот так мы попрощались.

Сначала из Камня-на-Оби мы плыли в Барнаул. Тогда я впервые ощутил, что такое пароход. Причем пароход тот был еще с лопастями, с колесами. Разместили нас на палубе, и плыли мы всю ночь. Я не мог заснуть: смотрел на бакены, которые встречались на реке, на отвесные высокие берега – все было в новинку. Хотя и текла у нас в деревне речушка Бурла, приток Оби, где мы ловили окуньков, но она была узкая. Еще были озера: Ванино и Русаково. Но такой большой судоходной реки, конечно, я раньше не видел. Это была великая Обь.

В Барнауле мы на трамваях пытались добраться до железнодорожного вокзала. В трамвай нас не пускали из-за огромного бабушкиного сундука, который мама везла с собой. Она долго-долго уговаривала какого-то шофера, чтобы довез до вокзала. Наконец уже вечером мы сели на поезд. Ехали опять в ночь до города Белово, где нас встречала мамина тетя.

Жила Мария Алексеевна в поселке Новостройка в пятнадцати километрах от Белово. До этого она тоже много лет просидела в лагерях на Колыме. Там добывала золото на рудниках. Однажды ее вагонеткой в забойнике придавило к стене. Мария Алексеевна сильно покалечилась, работать больше не могла, получила инвалидность. Когда ее реабилитировали, она переехала в Кемеровскую область.

В поселке Новостройка у нее была девятиметровая комната в коммунальной квартире – бывшем тюремном бараке. Там жили в основном ссыльные, много было уголовников. Мы поселились вместе с тетей в этой комнате. Мария Алексеевна и мама спали на одной кровати, я – на полу около двери, а сестра Зиночка – на том самом бабушкином сундуке.

Дверь в комнату почему-то открывалась во-внутрь. Когда начиналась драка в коммуналке (а там жило пять-шесть семей), то все женщины бежали спасаться от пьяных мужиков к маме. Маму боялись, она очень строгая была. И когда посреди ночи соседки прибегали к нам (двери тогда не запирались: воровства не было), мой матрас-«кровать» толкали дверью.

Через несколько лет тетя переехала из Кемеровской области в город Фрунзе (сейчас Бишкек): врачи рекомендовали ей климат Средней Азии. Там она и скончалась много лет спустя. Во Фрунзе тетя на свои деньги построила детский дом. Оказывается, некоторым реабилитированным политзаключенным Хрущев давал пособия – что-то вроде компенсации за невинно отбытый срок. Когда Мария Алексеевна уехала из ссылки, у нее не было ни семьи, ни детей, и она решила, что ее деньги могут помочь чужим детям. Построила детский дом, при нем жила сама: полы мыла, за детишками ухаживала. В Бишкеке даже мемориальная доска есть о том, что детский дом построен Марией Алексеевной Козловой.

Когда тетя уезжала, девятиметровую комнатку оставила нам. И мама, будучи уже больной (у нее была острая форма гастрита), устроилась работать бригадиром разнорабочих на стройку. Рядом с нашим поселком возводился еще один – Колмогоровский. Нужны были рабочие руки, вот мама и пошла. Тот, кто строил, получал квартиры, и маме с двумя детьми

через несколько лет выдали в Колмогоровском небольшую однокомнатную квартиру, метров восемнадцати: маленькая кухонька, печка углем топится, потому что там уголь добывали. Так, постепенно, из деревенских мы превратились в городских.

День шахтера

Был август месяц. Приближался День шахтера, да и школа на носу. И мама сказала:

– Все, Санка. Деревенская жизнь кончилась, ты теперь мальчик городской, поэтому надо купить тебе костюм.

И купила мне костюмчик какой-то дешевенький, но очень этому радовалась:

– В нем и в школу пойдешь.

День шахтера праздновали на берегу Ини – притока Оби. Разворачивалось целое народное гулянье. Накрывали поляну, причем в прямом смысле: столов не было, подстилку расстилали прямо на земле (она была вместо скатерти). Приходил кто-то из народных коллективов, танцевали и пели. А для ребятишек качели сделали, с ними у меня связана отдельная история.

Я пришел на праздник в новом костюмчике, подстриженный в парикмахерской – для меня это было впервые, потому что в деревне нас стригли ножницами «под барана» или, как еще говорили, «лесенкой». Когда волосы отрастали, они торчали в разные стороны и получался такой смешной «ежик». А тут в парикмахерской меня побрили наголо машинкой, ровненько, аккуратненько. И вот я прихожу на гулянье – «городской» парень, в моем представлении. А остальные ребята на меня смотрят и переглядываются. Они-то одеты просто: штаны, рубашонка какая-то. А я стою таким франтом. Стал соображать, как мне восстановить в их глазах свою репутацию. И заметил качели. Я ведь в деревне чемпионом был, крутил «солнышко» аж сто пятьдесят раз! А здесь, в Новостройке, Витька Шамай, татарин, был вроде жоака среди этой детворы. Он перед ними прокрутил «солнышко» раз пятьдесят. Все под впечатлением: «Ну дает Витек! Ну, Шамай!» И тут я скромненько в этом пиджачке залез на качели и как начал крутить. Но как только завершил свой победный сто пятидесятый круг и спрыгнул с качелей, вся эта ватага набросилась на меня (Витьку мой успех очень оскорбил, вот он и натравил на меня ребят). Порвали на мне этот костюмчик, избили, зубы выбили. Пришел я домой – мама в обморок чуть не упала.

А у нас в коммуналке жил бандит по кличке Коля Сорок Пятый. Он узнал, что случилось, на следующий день провел меня за руку по всему поселку и сказал ребятам:

– Если кто тронет, уши оборву.

С тех пор меня никто не трогал. А потом я со всеми подружился. Мы вместе уходили из поселка на берег реки Ини, и я часами – не преувеличиваю, часами – рассказывал содержание библиотеки деревни Конево. Ребята были неначитанными, учились плохо. Я им читал и свои стихи, и Лермонтова. И «Всадника без головы» Майна Рида рассказывал, и «Трех мушкетеров» Александра Дюма – они слушали, открыв рот. А по вечерам пересказывал им новеллы Мопассана... Так я сделался душой компании.

Три миллиметра

Летом я спал на раскладушке на балкончике. По вечерам, когда темнело, я уходил на балкон и писал стихи. Напротив нашего дома стоял другой дом. В нем жила Таня Красильникова, моя одноклассница. Я был к ней равнодушен, поэтому часто с балкончика за ней наблюдал. Я видел, как она ушла на танцы. У меня музыкального слуха не было – я на танцы не ходил. Стемнело. Было около десяти часов вечера. Над ее подъездом зажгли фонарь. Я смотрю: какой-то парень зашел в подъезд. Потом мне сказали, что это был рецидивист, освободившийся из тюрьмы (видимо, зашел в подъезд заночевать). Через некоторое время Таня вернулась с танцев и тоже зашла в подъезд. Через несколько секунд я услышал ее крики – как был в трусах и в маечке, спрыгнул с балкона (мы жили на втором этаже) и побежал на помощь. Открываю дверь – передо мной здоровый мужчина, на Тане – разорванная кофта и платице. Я на него бросился, и вдруг – ах! Помню только, как инстинктивно произнес: «Господи!» – и в глазах потемнело. Оказывается, он проткнул мне грудь заточкой: целился в сердце.

Я полтора месяца лежал в больнице. Очнулся – вижу перед собой белый потолок и медсестру, склонившуюся надо мной. Потом доктор, проверив рентген, сказал мне, что в трех миллиметрах от сердечной сумки прошла заточка – то, что я выжил, было настоящим чудом.

«Под богом ходим!» – говорил дедушка.

Как я решил стать актером

Кино я полюбил еще в деревне, когда смотрел с ребятами фильмы передвижного кино-театра. Тогда у меня родилась мечта – снимать кино самому. Со временем эта мечта окрепла. В «Справочнике киномеханика» я прочитал, что кино снимают режиссеры, которые в основном работают с актерами. Поэтому я решил сначала стать актером, а потом идти в кинорежиссеры. Мама же такие мечты не приветствовала. Она хотела, чтобы я стал военным. Не только потому, что все мои дяди были военными, но еще и потому, что мы очень бедно жили, а мама думала, что военных за счет государства обувают, одевают, кормят и квартиры дают. Это она в кино видела. Уже потом, когда я служил в армии, я видел, что командир моей роты лейтенант Толя Кутузов жил с женой и сыном в нашей же казарме, отгороженный от солдат байковым одеялом.

Мама же мне всегда говорила:

– У военных одежда казенная, кормежка казенная. Потом, на себя посмотри, ты же у меня страшненький (я все еще конопатый был), а за офицерами симпатичные девчонки ухлестывают – глядишь, жена будет красавица.

У мамы были свои аргументы за то, чтобы я шел в военные. Дед же меня так наставлял:

– Заруби себе на носу, варнак, служить надо Отечеству, а не властям.

Вот этот дедушкин девиз я в сердце храню, как талисман. Это мой камертон проверки на честь, совесть и достоинство перед Родиной.

После окончания мною 7-го класса, в августе, пришло письмо от дяди Терентия, маминного старшего брата. Он сидел на Колыме (кстати, вместе с актером Георгием Степановичем Жженовым), а после реабилитации уехал на поселение в Темиртау, Северный Казахстан. Еще один брат, Василий, в Алма-Ате оказался. Дядя Семен с Сахалина попал в Камень-на-Оби, дядя Андрей – на железнодорожную станцию Мир между Славгородом и Камнем-на-Оби. Брат дедушки Иван был сослан в Иркутскую область. В общем, всю семью разбросало по Сибири и Казахстану.

Получив письмо, мама поехала навестить дядю Терентия, а сестра Зина и говорит:

– Санка, пока матери дома нет, беги в артисты.

Сестра знала о моих мечтаниях. Я ей всю жизнь доверял и доверяю. Она отдала мне деньги, которые мама нам оставила.

Я нашел в библиотеке справочник средних учебных заведений, посмотрел: уже прошли экзамены и в Барнаульской театральной студии, и в Красноярской студии при ТЮЗе, и в Новосибирске, и только в Горьком (сейчас Нижний Новгород) набирали на актерское отделение. И вот я через всю Россию (мое самое долгое путешествие) на верхней полке общего вагона поехал поступать в артисты. Зина в авоську мне рубашку белую положила и джинсы – это было модно. Купила, как сейчас помню, за 4 рубля 10 копеек полотняные джинсы с желтой строчкой советского производства. Моего размера не было – купила на размер меньше, короткие, но выбирать не приходилось. И сандалии на босу ногу надел. На ногах цыпки, как у нормального деревенского парня. Конопатый. Вот так я поехал в Горький поступать в театральное училище.

Глава 2

*Вернуться в молодость нельзя,
Но оглянуться и увидеть,
Как дружно жили мы, друзья,
Боясь друг друга вдруг обидеть,
И осознать, что есть рука,
К тебе протянутая в горе...
После чего ты на века
Готов уйти Колумбом в море.*

Цыгане

Цыгане в истории нашей семьи играют особую роль. Я рассказывал, как маме в молодости цыганка предсказала ее судьбу, и все сбылось. У меня же подобный случай произошел, когда я только прибыл в Горький.

Перед отъездом сестра Зина сшила мне в трусах карманчик, спрятала туда деньги и наказала:

– На вокзалах всегда цыгане пасутся. Смотри, чтобы не обворовали.

Я прибыл в Горький, и как только вышел из здания Московского вокзала, ко мне подошла цыганка. Я – сразу за карман. А она:

– Деньги-то в трусах небось прячешь?

Я ужаснулся: «Она уже знает, где деньги. Права была сестра».

А цыганка смеется:

– Не бойся, мальчик! Не возьму я твои деньги. А вот в артисты поступишь.

И я поступил.

Вступительные экзамены или этюд на рояле

Когда я приехал поступать в Горьковское театральное училище, мне было неполных четырнадцать лет. Я был самым младшим среди абитуриентов.

На первом экзамене попросили что-нибудь прочитать. Я вспомнил фильм «Старшая сестра» Георгия Натансона, в котором героиня Татьяны Дорониной произносит знаменитый монолог «Любите ли вы театр?», и решил с этим монологом поступать. Только я начал читать его на прослушивании, меня отвел в сторону Виталий Александрович Лебский, директор училища, и посоветовал вместо этого монолога прочитать что-нибудь веселое, с юмором. Ну, я купил брошюрку журнала «Огонек», которая была посвящена пограничникам. Тогда я не знал, что много лет спустя сыграю пограничника и даже получу премию «Золотой венец границы». На вступительном экзамене я прочитал какие-то, как сейчас мне представляется, чудовищные стишки и басню про пограничников. Были там такие слова:

*...Старичок-паучок.
Прыг-скок через границу,
Но не дремлет пограничник,
Службу знает он отлично...*

И далее по тексту стихотворения: поймал пограничник того старичка-шпиона. Вот такой стишок со счастливым концом я прочитал, причем на полном серьезе. Рассказывал, как какой-нибудь детектив Агаты Кристи. Все в приемной комиссии хохотали.

Потом Виталий Александрович попросил показать этюд. Я немного растерялся.

– Что ты умеешь делать? – спросил он. – В деревне, наверное, гнезда птичьи зорил?

– Зорил, – ответил я.

– Так представь, что вон там гнездо...

Он указывает на кулису. Я снимаю с себя сандалии... А поступал я в своих коротких джинсиках, сандальки на босу ногу. И самое печальное, что моя белая рубашка в авоське испачкалась: сестра положила буханку хлеба, десяток яиц и кусочек сала в дорогу – и вот это сало через газету пропитало всю рубашку. И я в этой запятнанной рубашке поступал... Ну, я наметил, где гнездо. А у кулисы рояль стоял, старинный такой, беккеровский. Я разулся (ведь мы по деревьям босиком лазили), разбежался, прыг на этот рояль, схватился за кулису и полез наверх. Слышу внизу охи да ахи. Смотрю: седоголовая женщина полулежит в обморочном состоянии. Это была Софья Андреевна, преподавательница вокала и сольфеджио. Она после революции аккомпанировала самому А. Н. Вертинскому. А беккеровский рояль, на который я так резво прыгнул, был единственным инструментом во всем училище.

Дальше – экзамен по вокалу. А у меня совсем нет музыкального слуха. Экзамен принимала та самая Софья Андреевна, которая чуть не лишилась чувств, когда я запрыгнул на рояль. Сначала я спел гамму – в ноты попал. А потом она меня попросила исполнить какое-нибудь произведение. Я запел народную частушку, а она спрашивает:

– Мальчик, а что вы орете?

Я и признался:

– Я ору, чтобы вы нот не слышали. Если вы их услышите, вы сразу поймете, что я ни в одну ноту не попадаю.

Она улыбнулась:

– Ну, иди.

Думаю, выгнала с экзамена. Потом смотрю, поставила «четыре». Я позже, когда был студентом и с ней занимался, спросил, почему она мне тогда четверку поставила. Она ответила:

– За честность: ты признал, что у тебя нет слуха.

Следующим заданием было прочитать стихотворение. Я, недолго думая, выбрал из школьной программы «Буря мглою небо кроет...» А. С. Пушкина. Читал я, по моим стандартам, нормально, скороговорочкой, просто и обыденно. Но такая манера страшно возмутила педагога по речи Людмилу Александровну Болюбаш.

– Такое пренебрежение к великому Пушкину, – сказала она и поставила низкую оценку.

В результате я не набрал одного балла, и меня не приняли. Я стоял в коридоре и плакал. И не потому, что не поступил. В справочнике я прочитал, что на актерское можно поступать до двадцати пяти лет – у меня впереди было еще десять с лишним лет. А плакал потому, что деньги истратил: у мамы пенсия была копеечная после реабилитации. Вот стою я и плачу. Вдруг подходит ко мне высокий красивый седой старик, похожий на Станиславского, и спрашивает низким голосом с прононсом:

– Прелестное дитя, отчего слез так много?

Я и отвечаю:

– Понимаешь, папаша, какая-то мымра на экзамене сказала, что я по-русски плохо разговариваю. А я в деревне-то лучший говорун был.

Мужчина попросил меня зайти в кабинет. Оказалось, что я разговаривал с одним из основателей училища, заведующим учебной частью Георгием Аполлинарьевичем Яворовским. Он преподавал в училище речь и историю театра. Яворовский спросил у меня:

– С мамой приехал?

Я отвечаю:

– Нет, один.

– Один через всю Россию? – удивился он и вызвал в кабинет Людмилу Александровну Болюбаш. Спросил, почему она поставила мне низкую оценку. Та пожаловалась, что я Пушкина скороговоркой прочитал. Я и ответил:

– Так чего же рассусоливать. У нас в Сибири бури – обыденное явление. Зачем из этого событие-то делать?

Яворовский и Болюбаш посмеялись, и тут Георгий Аполлинарьевич говорит:

– Людочка, пиши заявление об уходе.

– Как? – изумилась она.

– А вот так, – ответил он. – Потому что ты лентяйка. Приехал мальчик из глубинки через всю Россию, а ты прицепилась к тому, что он Пушкина скороговоркой читает. Значит, работать не хочешь.

– Ну ладно, Георгий Аполлинарьевич, возьмем этого дурачка, – согласилась Людмила Александровна. И меня приняли.

Уже учась у Людмилы Александровны, я спросил у нее, много ли за свою практику она встречала таких дураков, как я.

Она отвечает:

– Нет, только двоих: тебя и Женю Евстигнеева.

– А Евгений Александрович-то почему был дурак? – удивился я.

– А он тоже читал стихотворение «Буря мглою небо кроет», – ответила Болюбаш. – Только ты все забалтывал так, что слов не разобрать, а он плевался.

Потом судьба распорядится так, что я подружусь с Евгением Александровичем Евстигнеевым и снимусь с ним в нескольких фильмах.

Мои учителя

Мне очень повезло с учителями. Под богом ходим! В Горьковском театральном училище я занимался у тех педагогов, у которых учились Евгений Евстигнеев, Людмила Хитяева, Михаил Зимин, Григорий Левкоев. Сценическое движение и танец преподавала Гостева Лидия Ивановна, ученица Айседоры Дункан. Актер Владислав Дворжецкий часто проводил мастер-классы. Хлибко Николай Селиверстович был моим непосредственным педагогом по актерскому мастерству. Ему помогала Тамара Александровна Рождественская (родная тетюшка Геннадия Николаевича Рождественского, великого дирижера), характерная комедийная актриса. Когда говорят, что я – комедийный актер, то я отвечаю, что очень многому от нее научился. Такие были мастера!

Педагоги к нам относились удивительно уважительно. К каждому подходили индивидуально, с пониманием того, кто мы и откуда. Это было очень важно – вот такое прикосновение человеческой души к подростку, к мальчику из провинции. Они понимали, что Шура Панкратов – простой парень из Алтайской деревни. Но из-за этого меня не унижали, не оскорбляли, не говорили, что я быдло или недоросль. Наоборот, оберегали. Нас воспитывали. Нам очень мягко, ласково объясняли, как нужно себя вести. Они из нас делали артистов, интеллигентов; мягко, тактично вели нас к тому подиуму, на который мы должны были выйти. И это была основа всей педагогической системы Горьковского театрального училища. Не знаю, сохранилась ли она сейчас.

Я помню, Софья Андреевна мне говорила:

– Сашенька, у рояля так не стоят.

А затем следовала лекция часа на полтора о том, что это за инструмент – рояль, кем он производится и почему вот так выглядит. Я стоял и с замиранием сердца слушал. И когда она говорила: «А сейчас, Санечка, нота «ля». Ты понимаешь, что ты не попадаешь?» – я понимал, что рояль – это такой хитроумный инструмент, и что в ноту «ля» надо попадать. Это была мука, но это было творчество.

Людмила Александровна Болюбаш, педагог по речи (та самая, которая чуть не «забракковала» меня на вступительном экзамене), когда узнала, что я живу только на одну стипендию, сказала:

– Панкратов, в выходной – обязательно ко мне домой. У тебя очень большие проблемы с речью – надо заниматься.

Я приезжал к ней домой. Она мне наливала огромную тарелку щей, давала две-три котлеты с грудой гарнира...

Я спрашивал:

– Людмила Александровна, а речью заниматься когда будем?

Она отвечала:

– Ты что, с ума сошел, чтобы я еще выходной день на тебя тратила...

Подкармливала меня.

Два стакана чая без сахара и тринадцать кусков хлеба

Учась в театральном училище, я собирал библиотеку. Даже на двадцать рублей стипендии я изыскивал возможность покупать книги. У меня была прекрасная библиотека поэтов. А мама мне каждую неделю присылала посылку – ящичек, а в нем: картошка, кусочек сала, три рубля денег и письмо, в котором самым главным было: «Санка, не транжирь деньги». Ну и из расчета на то, что придет посылочка, я деньги все тратил: покупал книги, и вдруг – посылки нет и нет. Оказывается, мама слегла в больницу с острым приступом гастрита, и посылку мне не отправили. Я голодал трое суток. У меня уже начались какие-то галлюцинации из-за голода. А дело было зимой. Вот еду я в трамвае, гляжу, на полу пятнадцать копеек лежит, вмерзших. Для меня это был целый процесс. Я два круга проехал на трамвае, пока эти пятнадцать копеек выбивал из льда, чтобы люди не заметили – стыдно было. Потом, чтобы не заметили, как я их поднимать буду, шапку уронил, накрыл шапкой эти пятнадцать копеек, нашел, зажал в кулаке. У нас в студенческой столовой стакан чая без сахара стоил одну копейку, а с сахаром – три копейки, и одну копейку стоил кусочек хлеба. И вот я, проголодав трое суток, прибежал в эту студенческую столовую, взял два стакана чая без сахара и тринадцать кусков хлеба. На меня смотрели как на сумасшедшего, но зато я был сыт.

В эти три голодных дня Георгий Аполлинарьевич Яворовский заметил, что я очень бледный хожу, держусь за стенку, потому что меня шатало от голода. Вот иду я по коридору, чувствую, кто-то меня по плечу хлопает сзади. Оборачиваюсь – Георгий Аполлинарьевич:

– Молодой человек, ну нельзя же так сорить деньгами.

И дает мне пять рублей. Я говорю:

– Георгий Аполлинарьевич, это не мои деньги.

Он отвечает:

– Я что – слепец! Я шел за тобой – у тебя из заднего кармана выпали пять рублей.

Я отвечаю:

– Георгий Аполлинарьевич, ну не может быть у меня таких денег.

Он возмущается:

– Ты хочешь сказать, что я лжец?!

В общем, заставил меня взять эту пятерку. Он отошел, а я держу в руках пять рублей и вспоминаю, что у меня на брюках нет заднего кармана.

Вот у таких людей я учился.

Актерское мастерство «с тряпочки»

Вспоминаю Николая Селиверстовича Хлибко, моего педагога по актерскому мастерству. Крупный, а-ля Меркурьев, сидел он на стуле, обмахиваясь носовым платком, и говорил:

– Саша, я, конечно, не могу прыгнуть, как ты, но ты прыгни, как я не прыгну.

В этих словах – и признание своих недостатков, и осознание твоих достоинств.

Начинал он, как мы говорили, «с тряпочки». Например, репетируем сцену Коробочки из «Мертвых душ» Н. В. Гоголя. Студентка Ирина С. выходит и начинает свою реплику:

– Ой, здравствуйте...

И тут Хлибко останавливает ее:

– Минуточку, Ирочка. Коробочка может вот так выйти, без тряпочки?

Та в недоумении:

– А зачем ей тряпочка?

Хлибко отвечает:

– Потому что у нее все протерто, все обихожено. Она с тряпочкой должна выйти.

Ирина берет тряпочку, выходит снова, а Хлибко ей:

– Ирочка, вот ты с тряпочкой вышла. Зачем?

– Так вы же сами сказали...

– Это я сказал. А Коробочка? Тряпочку она вынесла с собой в руках зачем? Чтобы что-то протереть. А что можно протереть? Например, столик перед Чичиковым.

Ирина протирает столик. Хлибко продолжает учить:

– А теперь куда ты денешь тряпочку?..

И так далее. Вот так создавалась сцена, с мотивационных вопросов: как ты вышел? с чем? зачем ты вышел?

Потом Хлибко продолжает:

– Вот ты, Ирочка, откуда вышла и куда идешь?

Она отвечает:

– Из комнаты в комнату.

Хлибко возражает:

– Нет, голубушка. Ты вышла из кухни. А что у тебя в кухне было?

Ирина догадывается:

– Самовар...

– Так вот ты оттуда вышла после самовара... А зачем ты вышла?

– Для разговора...

Хлибко возражает:

– Нет, ты вышла, чтобы все протереть, чтобы все сделать удобным, красивым, а уж потом Чичикова слушать...

То есть на наших глазах создавалась целая история, и это было гениально. А когда переходили к диалогу, начинался детальный анализ: что тебя интересует в беседе? как ты слушаешь собеседника? почему ты его слушаешь именно так? одни ли интересы вы с вашим собеседником преследуете в разговоре? Хлибко преподавал не систему Станиславского по принципу «действуй в обстоятельствах», а систему Михаила Чехова по принципу «в какой атмосфере ты находишься». Например, на кладбище нужно разговаривать тихо, потому что атмосфера кладбища тебе это диктует.

Дипломный спектакль мы поставили по моей инсценировке «Мертвых душ». Я работал над спектаклем как драматург и актер. Отдельно ставили сцены с Коробочкой, Ноздревым, губернатором и другими действующими лицами пьесы. А как объединить их в единый спектакль? И Хлибко поставил передо мной эту задачу. Гоголь сжигал свои рукописи. И я

придумал, что он сжигает листы рукописи «Мертвых душ» в камине по очереди: одну сцену, вторую, третью... И перед зрителем мы эти сцены по очереди разыгрывали. Я в этом спектакле играл автора. И когда дело дошло до финального монолога, я бросился от камина и закричал:

– Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ...

Когда Хлибко увидел эту сцену, он мне предложил:

– Встань на колени и шепчи: «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ...»

Я удивился:

– Разве можно эти слова шептать?

А он ответил:

– Их нужно шептать, ведь это – личное. Ты перед Господом стоишь!..

Он прочувствовал, что кричать это человек не будет. Все актеры кричат, а он советует шептать. Это – осознание Гоголя в келье. Это глубокий личный урок. Гоголь велик для меня по сей день!

Тамара Рождественская, которая ему помогала преподавать актерское мастерство, была, напротив, актриса комедийная. Если меня считать комедийным артистом, то комедийное чувство она мне передала.

– Санька, а ты сделай так, а ты повернись вот эдак, – советовала она мне.

Я спрашиваю:

– Зачем?

А она отвечает:

– А это смешно.

Она мне все время показывала, что смешно, а что нет. Сама она, когда Бабу-ягу играла в детской сказке, всегда жаловалась, что в железной маске надо выходить на сцену: в нее дети стреляли из рогаток, потому что верили, что ее Баба-яга – настоящая. Тамара Рождественская мне часто говорила:

– Санька, ну что ты комикуешь? Ты все время хочешь быть смешным, а ты и так смешной.

У нее я научился чувству меры, которое так важно для комедийного актера.

Оттенки белого

Самым любимым предметом в училище у меня было, как ни странно, искусствоведение. До этого я и не представлял, что живопись так многогранна. Альбина Александровна Нестерова, наш педагог по изобразительному искусству, не просто рассказывала нам биографии художников, а говорила с нами о палитре, красках, о различиях в техниках. На ее занятиях у меня возникало ощущение проникновения в таинства живописи. Альбина Александровна водила нас в Музей изобразительных искусств в Горьком, где выставлялись картины лучших отечественных художников, и на примерах их работ наглядно показывала, что даже стакан можно написать разными способами. Особенно мне запомнилось, как она говорила о том, сколько в белом цвете может быть оттенков. Оказывается, семьдесят пять. Как? А вот так художник видит. Для меня это было открытием, и в то же время я себя чувствовал несчастным человеком: почему я не вижу, что в белом цвете столько оттенков! Значит, я бездарь, значит, я слепой?

И в черном цвете оттенков не меньше. Для меня теперь «Черный квадрат» К. Малевича – это не просто геометрическая фигура, это гамма красок. Ведь в этом черном цвете присутствует и белая палитра!

Это знание и чувство живописи мне потом очень помогло при поступлении во ВГИК.

Кружок поэзии и КГБ

*Пусть стихи мои вспыхнут в огне!
Я устал их писать – они плачут,
И приносят мне боль, и в окне,
Как горящие свечи, маячат...*

Учась в школе и театральном училище, я продолжал писать стихи. Впервые меня опубликовали в газете «Кузбасс», когда мне было лет тринадцать. В ней я прочитал, что Михаил Александрович Небогатов, поэт-фронтовик, набирает кружок поэтов в Кемерово. Он был инвалидом Великой Отечественной войны, другом Александра Трифоновича Твардовского. Я взял тетрадь со своими школьными стихами и поехал к нему. Нашел его адрес. Когда я приехал к Небогатову, в гостях у него был Лев Ошанин. Он тогда с певцом Виктором Кохно ездил по Сибири с творческими встречами. Кохно пел песни на стихи Ошанина. Ошанин заехал к Небогатову вот почему: Твардовский тогда выпустил четырехтомник своих стихов (первое более полное его собрание) и через Ошанина, зная, что тот по Сибири поехал и будет в Кемерово, просил передать этот сборник Небогатову.

Небогатов меня попросил показать мои стихи. Я дал ему тетрадь, он прочел. Дал послушать Ошанину. Они довольно благосклонно отнеслись к моим виршам. Ошанин, который был профессором в Литературном институте им. Горького, предложил мне после окончания десятилетки поступать в Литинститут, а я тогда уже был зачислен в Горьковское театральное училище. Но я обещал им, что буду продолжать писать. Небогатов дал мне горьковский телефон и адрес Бориса Ефимовича Пильника, тоже фронтового поэта, инвалида войны, и попросил его найти. Я так и сделал.

При Доме ученых Пильник вел кружок поэзии. Туда ходили Юра Уваров и Юра Адрианов, впоследствии известный нижегородский поэт и прозаик, председатель Нижегородского отделения Союза писателей. Я тоже присоединился к поэтическому кружку. Вот тогда-то я и попал «под колпак».

Вторая половина 60-х годов, брежневский период. Оттепель еще жила, дышала, хотя уже затихала, замирала. Однако интерес к поэзии не остывал. Еще проходили поэтические вечера, куда приезжали Римма Казакова, Лариса Васильева, Ольга Берггольц.

Помню, Ольга Берггольц, уже старенькая, приехала на открытие памятника Борису Корнилову в городе Семенов Горьковской области. В горьковском Доме ученых по случаю ее приезда организовали творческий вечер. Зал был переполнен. Причем пришли и пожилые люди, и молодежь. Она уже слабым голосом читала свои стихи по памяти, что-то забывала, но прием был грандиозный. И я был счастлив провожать Ольгу Федоровну до гостиницы «Нижегородская», вел ее под ручку. Она много говорила, шутила. Сейчас я, вспоминая ее, задумываюсь: Ольга Берггольц пережила Ленинградскую блокаду, много написала об этом. А что значит – много написать? Это значит – много пережить, перечувствовать, осознать. Это большой груз человеческих переживаний. И при этом она не потеряла чувства юмора. Вспоминая ее, я всхлипываю, не боясь сентиментальности, и молюсь за нее.

Подожли к гостинице, поднимаемся по парадному крыльцу. Она немножко поскользнулась, я ее – раз – подхватил под руку, держу. Она улыбнулась, погладила меня по плечу и сказала:

– Хорошая реакция, Санечка, не уронил поэта, – а то бы все буквы рассыпались.

Я подумал: «Как метафорично!» – Она вся состояла из поэзии и слов.

А вскоре ее не стало...

На одном из таких вечеров я познакомился с еще одним замечательным поэтом-фронтовиком Эдуардом Асадовым. Будучи слепым, он обладал необыкновенным видением в поэзии. И очень много писал о любви. Меня это удивило: фронтовые стихи, а большей частью не о войне совсем, а о любви. И я поинтересовался, почему у него так много лирической поэзии, обращений к возлюбленной через стихи.

– А на войне о чем еще думать? – ответил он. – Только об этом: о любви, о нежности, о ласке... Когда тебя окружает жесткий и жестокий мир, тем более война, то думаешь о самом добром и самом нежном, а что может быть добрее и нежнее такого человеческого чувства, как любовь?

Кстати, молодежи очень нравились стихи Асадова, и когда им говорили, что поэт слепой, – они не верили, потому что было ощущение, что стихи написаны суперзрячим человеком.

В 1966 году (мне было семнадцать лет) Борис Ефимович Пильник направил меня во Владимир на Всесоюзный семинар молодых поэтов. Это значило, что, пройдя семинар, я должен был стать членом Союза писателей или как минимум кандидатом. Руководил семинаром известный поэт, лауреат Сталинской премии, профессор Литературного института Павел Григорьевич Антокольский. На семинаре мои стихи приняли очень хорошо. Там же я познакомился с Николаем Рубцовым, Беллой Ахмадулиной и многими другими московскими поэтами. Вернулся я в Горький весь окрыленный. В каком-то крупном журнале опубликовали цикл моих стихов, и Пильник меня познакомил с Серафимом Андреевичем Орловым, филологом, профессором Горьковского (сейчас Нижегородского) государственного университета. Встреча состоялась на квартире у Пильника. К слову сказать, Орлов был шекспироведом. И хотя ни одного его труда по Шекспиру не опубликовали, его работы были очень популярны в университетских кругах. Пильник показал ему мои стихи. Орлов рекомендовал мне поступать на филологический факультет Горьковского государственного университета.

Ну, я доверился профессору и решил поступать, для этого бросил театральное. Общежития университет не предоставлял, поэтому ютился я в ветхом жилище у стариков, ветеранов войны, которых переселили из полуподвала в новую квартиру. Старики сказали:

– Вот тебе ключи. Окна забей чем-нибудь, чтобы не знали, что здесь кто-то живет, и живи – до весны не снесут.

И в этом полуподвале я жил почти полгода до весны. Окна забил фанерой, днем зажигал свечи. Электрическую лампочку включал только ночью. Думал, годик проучусь на филологическом и перейду в Литературный институт в Москву – стал готовить себя в поэты.

Близился День Победы. Пильник на кружке поэзии вышел с предложением:

– Ребята, а почему бы вам не написать посвящения поэтам-фронтовикам и вообще стихи на тему войны?

Я и написал. И посвятил свое стихотворение Павлу Когану. Я тогда очень любил его поэзию. Любимым стихотворением было «Гроза», которое заканчивается словами: «Я с детства не любил овал! Я с детства угол рисовал!» Только потом я узнал, что Михаил Кульчицкий и Павел Коган бежали из Литературного института на фронт добровольцами, где и погибли. А бежали, потому что знали о близившемся аресте. Кульчицкий с очень слабым зрением, – 8, погиб в первом же бою. Павел Коган не провоевал и полугодом, тоже погиб. И я написал стихотворение под впечатлением от творчества Когана. Эпиграфом взял те самые строки из его «Грозы»:

*Я с детства не любил овал!
Я с детства угол рисовал!*

*Мы все живём, у всех есть право.
Но прав ли тот, кто врал. И тот,
Кто на правах, как крол на травах,
На браво вырастил живот.
И восседая в тесных креслах,
О Преснях пресно говоря,
Искал подтекст
В прелестных песнях,
Всех уверяя, что «не зря».
И находил, и с ходу к делу
Так приступал, как наступал.
И люди пятились к расстрелу,
С ума сходили – и в подвал.
И на пол сразу – наповал.
Поэт поэтому овал
Воспринимал так туго,
И детства угол рисовал –
Один лишь угол, угол, угол.*

Наступил 1967 год, 50-летие советской власти. Поэтов стали душить. В столице уже буйствовала цензура, запреты, гонения на Иосифа Бродского и других поэтов. Но мы там, в провинции, еще не ощущали этого: выходили на улицы со своими стихами, выступали на поэтических вечерах в университете, во Дворцах культуры. Проходили вечера, посвященные поэтам-фронтовикам, на которых я читал и свое стихотворение, посвященное Когану. Оно широко разошлось среди студентов. И кто-то на меня за него «донес».

Еще Пильник нам такие задания давал: предлагал одно слово, и за десять минут мы должны были сочинить стихотворение, используя это слово. И вот в один, как потом оказалось, роковой для меня вечер Пильник дал нам слово «мозг». Я сочинил:

*Мозг напряжен, как мускул,
Пытается воспринять, что же такое русский,
Русская Родина-мать.
И не хватает мочи,
И не хватает сил.
Может быть, мозг не прочен,
Годен лишь на утиль?
Может быть, русская Родина-мать –
Это и есть тот мускул,
Который не следует напрягать?..*

Упражнение выполнил – выбросил и забыл, а кто-то из нашего кружка листок подобрал... и меня в КГБ на Воробьевку вызвали. Испугался я страшно, ведь вся семья была когда-то репрессирована, и мама предупреждала: не писать стихов.

Меня допрашивал майор КГБ. Он показал мое стихотворение – то самое упражнение, от руки написанное, которое я выбросил. На меня и досье уже было собрано. А в кабинете у него – шкафы от пола до потолка, закрытые. Он на них указал и говорит:

– Вот, видишь, здесь, наверное, пять-шесть Достоевских, два Толстых, точно три Тургеневых, но никто из этих авторов не появится в печати. А ты со своими стишками куда лезешь?

Сначала он меня вербовал в осведомители (то есть в «стукачи») – я отказался. Тогда он заставил меня дать подписку о том, что я не буду распространять свои стихи. Думаю, ладно – подпишу: лишь бы не посадили. Дал подписку, а маме на глаза показаться стыдно: Литературного института мне теперь было не видать, а из театрального училища ушел...

Пальто-шинель и возвращение в театральное училище

Нужно было как-то выживать. Я устроился работать дворником у Дома-музея Каширина (Музей детства А. М. Горького), что на Почтовом спуске. Отвечал за тротуар. Однажды я отбивал лед с тротуара, присел на скамеечку отдохнуть, курю. Вижу, мои преподаватели из театрального училища – Николай Селиверстович Хлибко, мой педагог, и Николай Александрович Левкоев – прогуливаются. Увидели меня. А я зарос, космы длинные отрастил, шапка на мне, а еще пальто особенное: мне его мама сшила, когда я поступил в училище. Она достала из бабкиного зеленого сундука черную френтовую железнодорожную шинель – подарок на День Победы (берегла ее все это время), и из этой шинели соседка тетя Клава, портниха, скроила мне пальто. Необычное такое полупальто-полушинель, но сукно хорошее, теплое. В этом пальто я в театральном учился, потом в Пензенском драмтеатре отработал и даже во ВГИК ходил в этом же пальто. Я всегда шутил, когда говорил, что меня согревает «мамина френтовая шинель». И вот в этом пальтишке я сидел и курил. Преподаватели меня увидели. Взглянув на мои лом и метлу, спросили:

– Шурка, подрабатываешь?

– Да, работаю.

А они допытываются:

– Ну а как с университетскими делами?

Тут я им все рассказал. Они попросили меня почитать мои стихи, я прочитал. Хлибко мне сказал:

– Возвращайся в театральное.

– А возьмете? – робко спросил я.

Я сдал пропущенные за полгода предметы, и меня приняли обратно, но на курс младше, к Валерию Семеновичу Соколоверову – знаменитому актеру, который учился когда-то вместе с Евгением Евстигнеевым и Олегом Табаковым. Заканчивал я уже с другим курсом.

Московские каникулы

На зимние каникулы у меня не было денег ехать к маме в Сибирь – я оставался, подрабатывал дворником, а в свободные дни, в субботу и воскресенье, мы садились на поезд с моим другом Витей Шведом. У него тетя Соня работала директором вагона-ресторана. Витя меня брал к тете Соне, и она нас бесплатно возила в Москву и из Москвы на поезде, кормила-поила в этом ресторане. А в Москве мы приходили со студенческими билетами в театры и посещали их. В то время студенты театрального училища имели право бесплатно посещать спектакли в любом театре страны.

Театр «Современник», который тогда был на Маяковке, пользовался особой популярностью. Я приходил в театр, в окошечко протягивал студенческий билет. Мне его обычно выбрасывали обратно и говорили:

– Дипломатам негде сесть, а ты тут со студенческим лезешь.

Я отвечал:

– Тогда доложите Евгению Александровичу Евстигнееву, что Шура Панкратов из Горького приехал.

Она докладывала. И выбегал Евгений Александрович из гримерки (я с ним тогда уже был знаком):

– Шурочка, давай, быстро-быстро...

Так я пересмотрел весь репертуар «Современника».

Владимир Высоцкий, 1965 год

В один из таких приездов мы с Витей попробовали в первый раз попасть в Театр на Таганке. Нас, конечно, не пустили. Витя вернулся на вокзал к тете, а я решил постоять – может быть, удастся проскользнуть на спектакль. Шел «Добрый человек из Сезуана». Подхожу к служебному входу, смотрю, стоит Николай Бурляев в белом военном полушубочке. Он тогда уже был популярным артистом после «Иванова детства». Рядом с ним стояла симпатичная хрупкая девушка. Как потом выяснилось, это была Ирина Роднина – они дружили. Я к Бурляеву нагло подхожу и говорю:

– Николай, вы можете мне помочь пройти? Я приехал из Горького, студент театрального училища.

Он отвечает:

– Ты что, мальчик, с ума сошел! Сейчас Высота выйдет, не знаю, проведет ли он меня.

– А Высота – это кто?

– Владимир Высоцкий.

Я решил еще постоять. Выбегает Высоцкий:

– Колька, давай, только быстро! И по-тихому – наверх. И ты, парень, не отставай!

Это он уже обратился ко мне, думая, что я в компании с Бурляевым.

Закончился спектакль, я решил зайти в гримерную, поблагодарить Владимира Семеновича. Спускаюсь в какой-то подвал, а там уборщица полы шваброй протирает. Я у нее спрашиваю:

– Тетенька, а как пройти в гримерную к Владимиру Семеновичу Высоцкому?

– Да вон они сидят там все, – проворчала она.

Я захожу в гримерную, там сидят действительно все: Боря Хмельницкий, Виталий Шаповалов, Валера Золотухин и Владимир Семенович. Я здороваюсь. Они переглядываются: кто такой?

А Высоцкий меня узнал:

– Так это ты с Колькой Бурляевым приходил?

– Я.

– Ты откуда?

– Из Горьковского театрального училища.

– Мужики, налейте парню.

Я засиделся с ними, уже и забыл, что мой поезд ушел, что ночевать мне негде.

Заходит та же ворчливая уборщица:

– Хватит тут сидеть, разгильдяи. Освобождайте помещение. Уже полночь!

Мы поехали в ресторан ВТО (Всесоюзного театрального общества, сейчас – ресторан «Дом актера») на Тверскую (тогда улицу Горького). Посидели, выходим, а Высоцкий спрашивает:

– Слушай, а ты где ночуешь-то, парень из Горького?

– На вокзале, наверное.

– Ты что, с ума сошел – на вокзале! Поедем.

И привез меня к своему другу режиссеру Леве Кочаряну, где я и заночевал.

Пензенский драматический театр

Когда я окончил Горьковское театральное училище, я получил приглашения на работу сразу от нескольких театров: Магнитогорского драмтеатра, Свердловского, Ставропольского театров, и в Горьком меня оставляли, но я выбрал Пензенский драматический театр, потому что режиссер предложил мне оклад по тем временам очень высокий. После театрального училища меня ожидала зарплата 75 рублей, а в Пензе мне предложили 110 рублей – это оклад актера первой категории. Так как надо было помогать маме (пенсия у нее была совсем крошечная), я согласился ехать в Пензу. Еще я понимал, что режиссер Рубен Вартапетов очень во мне заинтересован, раз предлагает такую зарплату.

Я потом спрашивал, почему он мне дал такой высокий оклад. Он ответил, что почувствовал: со мной будет интересно работать. В дипломном спектакле по «Грозе» А. Островского в Горьком я играл полусумасшедшего старика Кулигина, по моей инсценировке «Мертвых душ» Н. Гоголя был поставлен другой дипломный спектакль, где я играл автора. Тогда Рубен меня и выделил. Еще я играл в комедии Дж. Флетчера, репетировал Олега Кошевого из «Молодой гвардии» А. Фадеева. Я был разноплановым актером, а Вартапетов именно такого и искал.

Вот я приехал в Пензу и попал в руки к Рубену Вартапетову. А у него было кредо: делать ставку на молодых актеров. Он говорил:

– Старики уже всего добились: у них машины, квартиры, звания. От них ждать чего-то острого, социального не стоит. А если потребовать – это будет скучно и вяло. А вот молодые, которые за душой не имеют ничего, зарплаты маленькие – они злые, они остро чувствующие, остро воспринимающие действительность. Вот с ними можно и нужно работать.

Поэтому нам доверялись роли удивительные. Актер Зуев, ранее ничего не сыгравший в театре, был утвержден на роль Володи Ульянова. Тогда было трудно себе представить такую смелость со стороны режиссера. Я играл Ваню в «Цыгане», Жосефа в «Хищнице» О. де Бальзака и другие серьезные роли. Моей последней ролью, своеобразным прощанием с театром, стала роль Лариосика в «Днях Турбиных» М. Булгакова.

Ценным было то, что у нас не существовало определенного амплуа. Например, я играл Жосефа в «Хищнице» О. де Бальзака в паре с народной артисткой Людмилой Александровной Лозицкой, роль серьезная, и тут же – «Остров сокровищ» для детей, где я играл Боцмана Хенса, пирата, а в «Днях Турбиных» я – трогательный интеллигентный мальчик. То есть роли были совершенно разноплановые.

Когда Рубен Вартапетов мне предложил такой высокий оклад, я почувствовал, что без работы не останусь. Для меня как для молодого актера это было важно. И я действительно был занят в репертуаре. Мне повезло и с прекрасным актерским составом театра. В Пензе работали: Народная артистка РСФСР Людмила Лозицкая, Народный артист СССР Петр Кирсанов, заслуженный артист РСФСР Николай Накашидзе, которого мы звали просто Дядя Коля. Рядом был Михаил Светин, известнейший актер. С ним я играл то его сыновей, то его племянников – часто в комедиях, которые я очень любил. Мы со Светиным просто «купались» в таком роскошном репертуаре.

Для меня Пензенский театр был очередной (после Горьковского театрального училища) ступенью в подготовке к поступлению на кинорежиссуру. После училища я как бы оканчивал десятилетку, получал среднее образование и имел право поступать в институт. После школы я бы вряд ли сразу попал во ВГИК. А театр и театральное училище были той самой ступенью, которая помогла мне прочувствовать, что такое профессия актера. Параллельно я читал много литературы о кинематографе. «Историю теорий кино» Гуидо Ари-

старко я переписал от руки: в областной библиотеке книгу на руки не давали, поэтому я приходил в читальный зал и переписывал ее.

На репетициях я наблюдал за Рубеном Вартапетовым, за коллегами, смотрел все спектакли, которые ставились до меня. Еще во время учебы в Горьковском театральном училище мы, студенты, были заняты в массовых сценах в Горьковском драмтеатре. Я запомнил, как Владимир Яковлевич Самойлов играл Ричарда III в спектакле, который поставил интересный режиссер Ефим Табачников. Театральная режиссура находилась на высочайшем уровне, было у кого учиться.

Поэтому когда я поступал во ВГИК, на собеседовании мне задавали вопросы по изобразительному искусству, по живописи, а прочитать стихотворение, басню, прозу меня уже не просили, хотя это и входило в экзаменационные требования. Теоретическую работу я писал о цветовом кино (не о цветном!), о цвете в кино. На нее обратил внимание Сергей Аполлинариевич Герасимов, руководивший во ВГИКе актерско-режиссерской мастерской.

– Надо же, Эйзенштейн не успел закончить работу, скончался, но тоже думал о проблемах цветового кино, – заметил он.

Конечно, при поступлении во ВГИК мне задавали вопросы о кино: что я знаю о кинематографе? почему я решил работать в этой сфере? Я ответил, что хочу создавать мир, которого был лишен в детстве. Потому что только через кино я узнавал, что есть какой-то другой мир: что есть города, есть троллейбусы, трамваи, поезда, пароходы, самолеты... А у меня в деревне ничего этого не было, электричества не было, радио не было. Я долго не верил, что самолеты на самом деле могут летать, потому что я их никогда не видел. Я думал, что это все сказка, выдумка. А фантазия у меня была хорошая, я много читал и представлял, как с помощью кино создам свой необычный мир.

А Бэла белкой может быть...

В Пензе состоялась моя вторая встреча с Беллой Ахмадулиной. Мы познакомились на литературном семинаре во Владимире в годы моей учебы в Горьковском театральном училище. Когда меня запретили как поэта, я на какое-то время выпал из литературного мира.

Белла приехала в Пензу на творческую встречу. У нее был билет на ночной поезд, и надо было где-то скоротать вечер перед обратной дорогой. Как она мне потом рассказывала, она решила сходить в театр, где в фойе увидела мой портрет и вспомнила, что еще мальчиком во Владимире я заявил о себе неплохо как поэт. Белла Ахмадулина узнала мой адрес. А жил я рядом с театром.

В тот вечер я был занят только в первом акте, поэтому к моменту окончания спектакля уже сидел дома в компании друзей. Стук в дверь. Открываю – Белла Ахмадулина. Мокрая какмышь: на улице шел проливной дождь.

– Саша, здравствуйте!

Я пригласил ее в комнату. Белла засмущалась от внезапно обрушившегося на нее внимания со стороны моих друзей, которые были поражены, увидев вот так знаменитую поэтессу. Просили ее читать стихи. Она прочитала что-то из нового, помню, читала наизусть поэму «Дождь», посвященную ее разлуке с Е. Евтушенко и навеянную ненастной погодой.

Когда все разошлись, Белла меня попросила:

– Саша, почитай мне, что ты сейчас пишешь.

– Я не пишу.

– Читай, – настойчиво повторила она, – не может поэт не писать.

У меня в комнате стояли диван и кресло из «кабинета Ленина». В театре шел когда-то спектакль о Ленине, а мебели у меня не было – вот мне и выдали реквизит. Из-под этого дивана я вытащил свою тетрадь и читал Ахмадулиной свои стихи.

Когда я поступил во ВГИК, мы с Беллой Ахмадулиной виделись уже чаще. Она меня познакомила с Юрием Нагибиным, Борисом Мессерером, с которым мы дружим до сих пор.

Под влиянием пронзительной поэзии Беллы Ахмадулиной я написал несколько стихотворений. Вот одно из них, посвященное ей:

Б.А.

*А Бэла белкой может быть,
И в белом снеге след оставив,
Она не сможет позабыть
Исчезновенья черных клавиш...
А в черных клавишах тоска.
Печаль и боль моей России...
И рвется жилка у виска,
Как ниточка, к небесной сини,
Где в каплях кровь она свою
С космическим сольет пространством,
А я им песню пропою
На грустном языке цыганском.*

Москва

Когда я сдавал вступительные экзамены во ВГИК, я приходил на Красную площадь и разговаривал с Москвой. Я спрашивал:

– Москва, ну неужели ты меня не примешь? Неужели я тебе, столица, не нужен? Ну, прими меня, ради Христа.

И помню, как только я сказал эти последние слова – зазвонили куранты. И я понял, что поступлю во ВГИК. И поступил с первого раза. Я счастливый человек.

«Под богом ходим!» – говорил дедушка.

Франсуа Ленар и советское киноискусство

В Пензенском театре работал Генрих Левкович, прекрасный театральный художник. Он сам когда-то учился во ВГИКе на режиссера у Михаила Ильича Ромма, но был исключен за хулиганскую выходку. У них курс был хулиганский: А. А. Тарковский, А. С. Кончаловский, Г. Левкович... Генрих уехал в Петербург, закончил Академию художеств, работал с режиссером Г. А. Товстоноговым, потом перебрался в Пензу и устроился в театр главным художником. Я с ним поделился, что готовлюсь к режиссуре. Он мне объяснил, что кино – это в первую очередь изобразительный ряд. Поэтому нужно прекрасно знать живопись. А я живопись в Горьковском театральном училище изучил хорошо. Генрих мне много рассказал о кинохудожниках и театральных художниках. Но самое главное, он рассказывал, как вести себя на приемной комиссии. Он говорил, если там будет М. И. Ромм, он точно задаст вопрос об импрессионистах. Проблема была в том, что об импрессионистах я знал все, но ни одной картины в подлиннике не видел. Я несколько раз приезжал в Москву в Пушкинский музей, но то экспозицию куда-то вывозили, то зал закрывали на реконструкцию – в общем, не везло. И тогда Генрих Левкович мне посоветовал придумать своего импрессиониста.

– Пусть будет Франсуа Ленар... – сказал он.

– А кто это? – спросил я.

– Да никто, вымышленный художник, – ответил Генрих. – Скажешь, что твой любимый импрессионист, а так как теорию ты знаешь – смело ври что-нибудь про импрессионизм. Если эта тема тебе попадется, конечно...

...И попалась. А раньше на вступительных экзаменах во ВГИК собирались все кинорежиссеры: А. Столпер, Е. Дзиган, С. Герасимов, М. Ромм, Л. Кристи и другие. Операторы приходили: Б. Волчек, В. Монахов, А. Головня. Собирались все кафедры, потому что им было важно, кто идет в кино, какая смена их ждет в будущем. Это сейчас во время экзаменов комнаты закрываются – никто не знает, кого зачисляют и почему. И вот я сидел перед такой уважаемой комиссией. Про Коровина и про Серова рассказал, а когда Ромм спросил, как я отношусь к импрессионистам, стал сочинять про Франсуа Ленара. Ромм был в шоке: он прожил жизнь и не знал такого художника, а тут какой-то мальчишка из провинции приезжает и знает Франсуа Ленара! Пока я ему рассказывал, он выкурил, кажется, сигарет пять. Так волновался, потому что понял, что он пропустил в своей жизни что-то ценное. Когда я закончил, он посмотрел в конец стола – там сидела симпатичная брюнетка Манана Андронникова, дочь Ираклия Андронникова, она преподавала историю изобразительного искусства. Вот Ромм смотрит на Манану, а она хохочет:

– Михаил Ильич, мы с вами счастливые люди. Мы сегодня присутствовали при рождении нового имени в искусстве импрессионистов.

Она меня, конечно, раскусила. У меня земля из-под ног ушла. А Ромм засмеялся и обратился ко всем педагогам:

– Друзья мои, если это молодое дарование умеет так врать, ему место в советском искусстве.

И я получил оценку «отлично».

Атмосфера – это святое

Шел второй тур вступительных экзаменов во ВГИК: письменная работа. Продолжительность: восемь часов. Попалась тема «Удивительный сон после советского праздничного дня». Так как в моей семье из советских праздников отмечался только День Победы, то я написал такую небольшую новеллу. В деревне празднуют День Победы. Все ветераны надели ордена, собрались в избе. А мальчик с девочкой лежат на печке и смотрят на них, а потом уснули. И приснился им сон, что заблудились они в лесу. А лес – это колонны Рейхстага, и все вокруг заминировано. И вдруг к ним вышел Дядя Петя с гармошкой, одноногий ветеран войны, показал на протез и сказал: «Вот, только что потерял ногу. Я вас выведу из леса». И вывел их на поляну. Дядя Петя топнул протезом, деревяшка воткнулась в землю, а из нее ветки начали расти – и выросло на поляне дерево. Дядя Петя взял гармошку и как заиграет. Все заплясали, захороводили вокруг этого дерева, и дерево распустило листья. Голубизна неба меж листьев – как синие глаза Дяди Пети. Птицы закричали... и дети проснулись. Бабушка убирает со стола, говорит маме: «Хорошо посидели, вспомнили святой день – День Победы».

Я отдал рассказ, который писал минут сорок, и побежал пить пиво. Сидим на ВДНХ с ребятами, и Володька Грамматилов, мой будущий однокурсник, говорит:

– Представляете, какой-то сумасшедший написал в сочинении, что из протеза у ветерана войны дерево выросло и люди вокруг дерева стали хороводить.

Я стою, слушаю, молчу. Прибегает Ася Боярская, аспирантка Дзигана, спрашивает:

– Кто здесь Панкратов?

Я отозвался. Она говорит взволнованно:

– Я договорилась, забирай работу и пиши новую.

Я отказался: стыдно. Она уговаривает:

– У тебя же так прекрасно собеседование прошло... а что ты в сочинении написал? Из протеза веточки растут! Ты к кому поступаешь? К Ефиму Дзигану, режиссеру фильма «Мы из Кронштадта»? Реалистичнее нет мастера, чем Дзиган, а у тебя такой сюрреализм.

Но я уже выпил, мне было неприятно идти в институт. Через три дня вывесили результаты, смотрю списки: Панкратов – «отлично». Потом я Дзигана спросил, почему он мне за такой сюрреализм «пять» поставил? Он ответил:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.